



Глава I

Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют — остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти *Несбывшегося*. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинается ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком, — место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неискаемым, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он



не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеда и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего — двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.



Глава II

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и — может быть — потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преобразование. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял, — единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того, внезапное отчетливое создание: рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями, странного, далекого транспаранта, — но все это развивалось в ничто; рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению со случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней», — «Лондон», — «Амстердам», — «Туллон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Туллон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает... —

говорит Монс, —

После долготерпения дня

Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса, — гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.



Глава III

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен,

подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствие, принимая во внимание обстоятельства, почти развратное, — так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению или иной причине, она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать

другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья; так как было действительно жарко, она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчаться, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, вращая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, — такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив



взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к запрятанному клубку.

Не скрою, — я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей — печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду, — явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, замысла, сновидения и надежды, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, пе-

реходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал воображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил, — жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой, банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон, — я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминая прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?!

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в янтаре. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он пригласил также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толчее чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делаю такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые

безучастные, звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас, по желанию нашему, — отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то беспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать *Анну Макферсон*, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Сениэль».

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание.

— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменялось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь — наверное, в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной, — а я опустил в кресло, внутренне застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения — несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была, по существу, огромным окном. Оно шло

от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде — вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устояв перед нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях непрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал *всему*: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем, — пока вы еще не скрылись — уверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее!»

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр, но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.



Глава IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак, — это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены: сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще бóльшую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. Повидимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто

вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо: Лерх извещал, что, лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, — отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая на стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлия Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно — через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной,

которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

— Ну, — сказал мне Стерс, сдавая карты, — вы покупаете? Ничего?! Хорошо. — Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь, — сказал доктор, — а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре: четыре десятки и шестерка; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся, так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал, что.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

— Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая — согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю, — ответил наконец Стерс. — Что у вас?

Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос,

сказавший с ударением: «...Бегущая по волнам». Это было как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Измученный явлением, которое, так очевидно, не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон. — Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было, — выключила меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь, — ответил я, желая узнать, что скажут другие. — Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы услышали?

— «Бегущая по волнам», — повторил я с недоумением. — Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлия, сделав несколько обычных замечаний иронически-серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

